

И. И. ПАНЧЕВ



*Избранные произведения*

# Иван Иванович Панаев

## Барышня

Советским читателям известно имя Ивана Ивановича Панаева, автора "Литературных воспоминаний", замечательного образца русской мемуарной литературы XIX столетия. Но мало кто: знает в наше время другие произведения этого писателя — одного из талантливейших беллетристов и журналистов 1840- 1850-х годов.

Автор многочисленных очерков, рассказов и повестей, создавший реалистические картины русской жизни первой половины XIX века, ближайший помощник Некрасова по изданию журнала «Современник», мастер самых разнообразных журнальных жанров, — он навсегда связал себя с лучшими представителями русской общественной мысли и литературы — Белинским, Некрасовым, Чернышевским. Произведения Панаева представляют для советского читателя не только историко-литературный, познавательный интерес, но и живое, увлекательное чтение.

# Содержание

Глава I Вступление . . . . .	0005
Глава II Рождение барышни и ее детство . . .	0018
Глава III Воспитание барышни . . . . .	0035
Глава IV Барышня-невеста . . . . .	0062

# Панаев Иван Иванович

## Барышня

*...Давно ль*

*Я, кажется, тебя крестила?*

*— А я так на руки брала?*

*— А я так за уши драла?*

*— А я так пряником кормила?*

*("Евгений Онегин")*

# Глава I

## Вступление

**М**оя барышня — настоящая барышня. От нее без ума маменька и папенька... Но прежде надо сказать, что такое маменька. Маменька — простая, добрая и толстая русская барыня. От нее в свое время были также без ума папенька и маменька, — папенька — богатый помещик, известный во всей губернии суровостью и крутостью нрава, знаменитый псовый охотник. Маменька — добрая и слабая женщина, которая не имела никакой власти в доме и дрожала от страха при виде своего супруга с вечно нахмуренными бровями и вечно вооруженного арапником. (Впрочем, она никогда не жаловалась на свою участь — и в самые горькие минуты своей жизни рассуждала так: "На то он мне муж, чтоб с меня зыскивать... И закон мне велит ему повиноваться".) Бывало, глядя на свою Лизу с невыразимой нежностью и глядя ее по курчавой головке, она говорила: "Не хочешь ли покушать чего-нибудь, ненаглядное мое сокрови-

ще?.." И потом с беспокойством прибавляла: "Похудела ты что-то у меня, душенька... Мало ты совсем кушаешь... Вот тебе пирожок, я испекла его своими руками..." И в дрожащих звуках ее голоса сколько было чувства и любви!

Чем более такого рода матери любят детей своих, тем более они их кормят. Бывали примеры на Руси, что матери из любви закармливали детей своих до болезни или до смерти. Странное выражение любви!..

Бабушка моей барышни не хлопотала о воспитании своей дочки. "Что мучить ребенка по-пустому! — говорила она, — добро бы еще мальчик, — ну, мальчику еще куда ни шло, а девочке вовсе не след пичкать голову разными вздорами; только чтоб у нее чувство было — это главное, да чтоб была доброй женой и хорошей хозяйкой, а на остальное на все наплевать. Я век свой прожила без ученья, благодаря бога..." Дедушка еще менее хлопотал о ее воспитании. Дедушка любил свою дочку, потому что она иногда служила для него развлечением в свободное от охоты время. Он тешился ею, как тешился своими

лягавыми и гончими.

Однажды, навеселе, окруженный ватагою полупьяных приятелей, он неожиданно с охоты нагрянул домой... Дома продолжалась попойка. Шум, крик, гам. Весь дом ходил ходенем. Уже шут Васька, давно мертвецки пьяный, в каком-то фантастическом костюме и с шлемом на голове, валялся на полу; уже два гостя еле держались на стульях и готовы были последовать примеру Васьки. Вдруг дедушка, в шестой раз наполнив позолоченный старинный кубок, закричал зычным голосом:

— Малый!.. — И все малые вздрогнули при этом голосе. — Позвать сюда барыню и сказать ей, чтоб, мол, она привела с собою барышню, что будут, дескать, пить за их здоровье. Слышишь?

Пять седых исполинов в одно мгновение бросились из комнаты исполнять приказание барина. Барыня явилась.

— А где же Лиза? — вскрикнул барин, косо взглянул на жену...

— Лиза, Иван Васильич, почивает, — отвечала жена, — уже более двух часов, как няня уложила ее в постельку... У нее, у бедняжки,

целый день болела головка...

— Вздор! принести ее сюда!

Она вышла из залы и через несколько минут снова явилась, неся на руках четырехлетнюю девочку, которая хныкала и терла ручонками заспанные глаза. На глазах матери дрожали слезы...

— Ну, давай ее сюда ко мне на руки!..

Мать хотела что-то возразить, но слова замерли на языке ее, и она безмолвно повиновалась.

Иван Васильич, охватив дочь левою рукою, в правую руку взял бокал, поднял его и, обведя взором собрание, произнес:

— А теперь мы выпьем за здоровье моей наследницы, да чур выпивать до дна.

— Лизавете Ивановне многая лета! — Он сам выпил кубок и опрокинул его, как будто для доказательства, что в нем не осталось ни капли.

— Многая лета, многая лета! — хором затянули гости, осушая свои бокалы.

Девочка со сна, испуганная этими криками и видя вокруг себя все незнакомые лица, начала вырываться из рук отца и плакать...



— Тсс! У меня на руках не сметь реветь...  
Ну, кланяйся и благодари гостей.

Иван Васильич поставил Лизу на стол, загроможденный стаканами и бутылками, и наклонил ее голову сначала направо, потом налево.

— Слышишь, Лизавета, — продолжал Иван Васильич, — у меня смотри... у меня нини!..  
Ну, хочешь подброшу?

Он ущипнул дочь за щеку и в самом деле схватил ее на руки, чтоб подбросить...

— О, бога ради! — простонала несчастная мать, бросаясь к Ивану Васильичу, чтоб выхватить ребенка из рук его. — В своем ли ты уме? Ты навек ее можешь сделать уродом...

— Прочь, баба! — загремел Иван Васильич, с сердцем оттолкнул жену и высоко, как мячик, подбросил Лизу почти к самому потолку, при общем и единодушном хохоте.

Мать вскрикнула и закрыла глаза руками.

Но Лиза уже была в объятиях отца...

— Ну, чего испугалась? — сказал Иван Васильич, обратясь к жене, — чего глазато закрыла? Не понимаешь что ли, что я играю с ребенком? Ох вы мне, неженки!..

Ну возьми ее, да отправляйтесь на свою половину, а нас оставьте погулять...

Мать с быстротою молнии схватила Лизу, крепко прижала к груди своей и выбежала из комнаты.

Такого рода сцены повторялись не раз. Лиза благодаря богу не сделалась уродом.

Лиза, оставленная на произвол природы, росла и наливалась, как здоровый плод, не по летам, а по часам... В шестнадцать лет она была завидная невеста — настоящая русская красавица: и кругла, и бела, и румяна. Стан ее, может статься, был немножко толстоват, но это потому, что она никогда не нашивала корсета.

Образование ее было окончено. Она в арифметике дошла до деления и умела порусски читать и писать. Первые три правила арифметики ейгодились в жизни за вистом и за преферансом; уменье читать не послужило ни к чему, потому что, кроме "Новейшей и полнейшей стряпухи", она не имела ни случая, ни потребности читать книжки... Зато она помогала матери варить варенье, делать желе и пастилу. Она вообще обна-

руживала хозяйственные таланты, и по особенному способу приготовляемая ею яблочная пастила скоро прославила ее в целой губернии.

Отец, глядя на нее, с самодовольством обыкновенно говаривал:

— Эка пышка!

И потом, обращаясь к своему гостю и указывая на дочь, прибавлял:

— Что, дружище, кажется, не ударил себя лицом в грязь? а? Девочка-то я тебе скажу! Оно все бы, конечно, сынишка лучше, да впрочем... С мальчишками возни много. Куда с ними денешься? Что такое нынешнее воспитание? Куда оно годится?..

Девчонку, по крайней мере, сбыл с рук, да и концы в воду. Выйдет замуж, так и отрезанный ломоть. Это что? (он снова указывал на дочь), это ведь такой товар, что дома не залежится...

Иван Васильич был прав. В двадцать три года Лиза вышла замуж за отставного майора, Евграфа Матвеича Ветлина, человека отлично добронравного, с брюшком и страстного охотника до всего съестного вообще и до яб-

лочной пастилы в особенности. Лиза переехала в губернский город. Лиза из уездной барышни сделалась губернской барыней и завелась своим хозяйством. Иван Васильич вскоре после ее брака скончался от удара, покушав за ужином не в меру и тотчас же после ужина рассердясь за что-то не в меру на своего буфетчика. А жена его через год последовала за ним; тоска по мужу свела ее в могилу. "И побранить-то меня теперь некому", — часто говорила она, заливаясь слезами. Мысль о будущих внучках поддерживала еще немного ее существование; но неисповедимым судьбам угодно было, чтоб Лизавета Ивановна забеременела не ранее как через год после ее смерти.

Старушка умирала спокойно, тихо, в полном сознании, что она, по мере сил своих, исполняла на земле долг христианки, то есть была всегда послушною и верною лесною и доброю матерью... Она приобщилась за час до своей смерти... это было в теплый и тихий майский вечер... Окна ее спальни, выходившие в сад, были открыты... Весенний воздух, растворенный запахом черемухи, освежал

лицо умиравшей, потухавшая заря освещала комнату своим ярким румянцем... Лизавета Ивановна сидела на стуле, дрожа всем телом и прислонясь лицом к подоконнику.

Супруг стоял близ нее, заложив пальцы за обшлага своего сюртука, и беспрестанно говорил супруге: "полноте-с, полноте-с", — а слезы так и катились по его доброму и взрытому рябинами лицу. Старушка подозвала их к себе, поцеловала и благословила; Евграф Матвеич произнес всхлипывая: "Маменька, будьте покойны касательно Лизаветы Ивановны, я все употреблю, поверьте, чтоб сделать их счастливыми..." (Евграф Матвеич, несмотря на то, что был женат два года, никак не мог говорить жене "ты".) И он, произнеся этот обет, не удержался и зарыдал.

Старушка сказала слабеющим голосом: "Не плачьте, мои голубчики, я иду к моему Ивану Васильичу..." Последнее слово старушки было имя ее мужа.

После смерти ее супруги погрузились, поплакали и, пораздумав немножко, занялись устройством своих дел. Покойный Иван Васильич был разорен псами, на имении было

пропасть долгу. Супруги, посоветовавшись, продали большую половину имения, уплатили долг и оставили только в своем владении одно село Ивановское, Брысскую Топь тож.

— Распоряжайтесь всем по своей воле, — говорила Лизавета Ивановна мужу, — но уж это село оставьте неприкосновенным. В нем родилась я, в нем и умереть хочу.

Тут лежит прах моих родителей. Так, если б мы его продали, нас бы громом убило, да и люди в глаза бы нам наплевали.

Умилительно было видеть картину домашней жизни Лизаветы Ивановны в первые года замужества. Супруги, казалось, созданы были друг для друга.

Они ни в чем не противоречили друг другу, так сходны были их понятия и образ мыслей... Только однажды и то нечаянно супруг огорчил супругу. Лизавета Ивановна вязала чулок, Евграф Матвеевич раскладывал гран-паянс. Он первый прервал молчание.

— А знаете, голубчик, ведь то, о чем я загадал, вышло... Он всегда звал супругу голубчиком, а она звала его голубушкой или дружочком.

— А о чем вы загадали, дружок?

— Будто уж вы не догадываетесь?

Евграф Матвеич пришел в замешательство и покраснел.

— Нет, не догадываюсь.

— Насчет того, понимаете?

— Насчет чего?

Евграф Матвеич наклонился к уху Лизаветы Ивановны и сказал шепотом:

— Насчет того, голубчик, чем нас бог обрадует — сыном или дочкой.

Лизавета Ивановна в свою очередь пришла в замешательство и покраснела.

— Что же вышло? — робко прошептала она, — сынок или дочка?

— Сынок.

— Неужто сынок?.. Так, стало быть, вам бы хотелось сынка?

— Признаюсь откровенно.

— Отчего же сынка? Ну, а если будет дочка, так, стало быть, вы ее и любить не станете?

— Как же это можно? За какое вы чудовище меня принимаете! Чтоб я не любил свое дитя!.. А, видите ли, сынка я натурально больше потому желаю, что это по моей части... Я

бы его сам обучал... всему, чему следует... и определил бы его в тот полк, в котором сам начал службу...

Воображение Евграфа Матвеича разыгралось... маленькие, сонные глазки его одушевились... Он продолжал:

— И вышел бы он в офицеры... этот клопото, которого вы на руках носили...

Представьте себе: офицер, со шпагой и с эполетами и в шарфе!.. ну, словом, офицер в полной форме, как следует!.. Этакий молодец рослый, плечистый!..

— Чтоб я отдала его в военную службу! — вскрикнула Лизавета Ивановна. — Сохрани господи!.. Чтоб он в поход пошел да чтоб его на сражении убили!..

Евграф Матвеич посмотрел на супругу с упреком.

— Так чем же ему быть, с позволения сказать, приказной строкой, что ли, чтобы у него руки были в чернилах измараны?.. Как же это можно!

— И по штатской службе можно до больших чинов дослужиться, — возразила Лизавета Ивановна.



— Каких чинов ни дослуживайся, а все штатский... — заметил Евграф Матвеич.

— Нет, лучше вы мне и не говорите! — возразила Лизавета Ивановна, — уж как вы хотите, а сын наш пойдет по штатской части.

## Глава II

# Рождение барышни и ее детство

Через месяц после этого разговора Лизавета Ивановна разрешилась от бремени дочкою.

— Ну, что, Пелагея Ильинишна, что бог дал? — в один голос закричали дворовые девки, бросаясь навстречу старухе-няне.

— Нишните, голубушки, нишните... Ох, все косточки разломило... устала... дайте отдохнуть.

Няня села на стул.

— Помучилась, моя сердечная, да и нас-то помучила. Ну, да теперь слава богу.

— Да скажите, Пелагея Ильинишна, что же бог дал? Девки с любопытством обступили няню и смотрели на нее вытараща глаза. Няня перевела дух и произнесла:

— Барышню.

— А что, Пелагея Ильинишна, — заметила Матреша, которая была побойчее, покрасивее и почище других, — а вы нам все говорили,

что по всем вашим приметам будет барчонок... Вот вам и барчонок!..

— Уж ты мне, быстроглазая!.. Пелагея Ильинишна! Пелагея Ильинишна! Язык-то без костей, так все пустяки мелет... Барчонок!.. — И потом няня продолжала, как будто про себя. — Слава богу, маменьку вынянчила, так вот теперь дочку привелось нянчить.

В этот же вечер, с радости, старуха порядочно выпила, так что уже не могла показаться в комнаты; она дремала в людской у стола, несколько покачиваясь и беспрестанно облизывая губы... Девки, стоя вокруг стола, поддразнивали ее, подсмеивались над нею и потом пересмеялись между собою. А она беспрестанно повторяла сквозь зубы и как будто сквозь сон:

— Зубоскалки вы проклятые... чего это обрадовались?.. зубоскалки...

— Что? не угодила я вам, голубушка? — шептала Лизавета Ивановна своему супругу слабым голосом, — ведь вам хотелось сынка?

— А бог с ним, с сыном! — отвечал супруг, с лицом, сиявшим радостью. — Я и дочку буду любить, голубчик, так же, как любил бы сы-

на... Еще за сына, может быть, мы бы ссорились (Евграф Матвейч, произнося это дурное слово, старался как можно приятнее улыбнуться), а об дочке у нас споров не будет... Дочка по вашей части...

Крестины праздновались с шумом... Восприемник новорожденной был губернатор: восприемницею — вице-губернаторша... Новорожденную нарекли Катериной, в честь отцовской тетки. Гости за обедом были необыкновенно любезны. Они беспрестанно повторяли:

— Красавица у вас будет дочка, Лизавета Ивановна! Бесприданница... И здоровенькая такая, бог с нею!

Вице-губернаторша была любезнее всех гостей... Она, по крайней мере, раз пятнадцать повторила:

— У вас, милая Лизавета Ивановна, дочка, а у меня сынок... Вот вам и жених с невестой.

Обед был на славу и продолжался часов пять сряду. Евграф Матвейч и Лизавета Ивановна, как истинно русские люди, отличались хлебосольством и гостеприимством.

Евграф Матвейч сам не сидел за столом, а

все ходил около стола и угощал гостей, приговаривая: "сделайте одолжение, еще кусочек...", — и кланялся. Лизавета Ивановна повторяла дамам то же.

К концу обеда несколько пробок с шумом полетели в потолок...

— Вот и артиллерийское учение начинается, — остроумно заметил, крутя висок, один из гостей, отставной поручик.

Другой гость, балагур (из семинаристов), заменявший старинных шутов с шлемами и бубенчиками, встал и, обратясь к Евграфу Матвеичу и Лизавете Ивановне, с поднятым бокалом произнес:

*День восторга, восхищенья —  
Вашей дочери днесь крещенье!  
Все несут к вам поздравленья.  
На Парнасе девять муз  
Превозносят ваш союз...  
Родилась десята муза  
От прекрасного союза.  
Веселитесь и ликуйте,  
День сей дивный торжествуйте!  
Веселися дом Евграфу.  
Веселися, но не в мале!*

Стихотворение было длинное. В нем заключалась тонкая и лестная похвала родителям, в особенности же восприемникам, которых семинарист между прочим величал "знаменитыми сановниками и представителями христианского человечества".

Оно оканчивалось следующим [четвероштишем]:

Хоть ода несколько, быть может, и слаба,  
Без риторических прикрас, без ухищрения,  
Но да не взыщется с низайшего раба  
За искреннее чувств живейших выраженье.

Когда семинарист кончил и выпил бокал, обведя взором собрание... страшный шум рукоплесканий, хохот и одобрительные крики потрясли столовую... А семинарист, положив руку на сердце, кланялся низко на все стороны и повторял с самодовольною улыбкою:

— Не достоин, не достоин!..

После обеда, когда все гости вышли из столовой и разбрелись по другим комнатам, в то время как лакеи собирали со стола, доедая и долизывая барские остатки, няня, как старшая в доме, под предлогом надзора за людьми, все прохаживалась кругом стола и

допивала оставленное в стаканах и рюмках вино... Вечером же, в людской, при собрании всей дворни, подплясывая и прищелкивая руками, напевала:

*Ай люли, ай люли,  
Ай вы люшеньки мои!*

И вся дворня каталась со смеха, приговаривая:

— Ай-да Ильинишна! ну-ка еще... Вот так... порастряси-ка старые кости!..

Но обратимся к барышне.

Вот она — моя барышня, румяное и полное дитя, ей полтора года, но ее еще не отняли от груди; вот она — на руках у заплывшей жиром кормилицы, которую раз десять в день поят чаем и беспрестанно кормят селедками. Кормилица обыкновенно по будням носит толстую рубашку, ситцевый сарафан и ситцевую шапочку на голове, а по воскресеньям и по праздникам — непременно камлотовый сарафан, обшитый галуном, кисейную рубашку и бархатный кокошник... Барышня только что перестала плакать, еще у нее не обсохли слезы на глазах... Кормилица вытирает ей

глазки и носик и приговаривает:

— Бесстыдница этакая... ну, что разревелись-то? а вон уж трубочист придет и съест тебя.

Дитя подымает визг от страха и жметя к кормилице... Кормилица страшает его розгами, — дитя еще пуще плачет. На его визг и плач прибегают маменька, папенька и няня.

Маменька кричит:

— Ну, так и есть, опять раздразила ребенка! Не умеешь ты, мужичка этакая, обращаться с барским дитятей. Не плачь, ангельчик мой, не плачь... А посмотри, вот бобо, душенька.

Папенька кричит:

— Ох вы мне! изуродуете вы ее... Каточек, Каточек, посмотри на меня... Где папа? А-а!.. вот папа...

Няня кричит жалобным голосом:

— Что это с тобой, лапочка ты моя, что с тобой приключилось... Уж не зубки ли?.. Покажи-ка.

Няня всовывает палец в ротик дитяти и потом обращается к барыне:

— Вот, посмотрите, матушка, у нее тут, у



моей голубушки, зубок прорезывается.

Вслед за няней маменька и папенька всовывают свои пальцы в ротик дитяти, чтоб ощупать зубок.

— Вестимо к зубкам плачет, — замечает кормилица, — отчего ж ей больше плакать?

Около ребенка шум и крик; ребенка затормошили, и рев его раздаётся по всему дому...

— Да где же эти все девчонки? — вскрикивает маменька, — пошлите их...

Палашка! Дашка! Машка!..

Девчонки прибегают.

— Вот я вас! Где вы там бегаєте! постойте...

— Дитя плачет, вам и горя мало, — перебивает папенька.

— Вы забыли свою должность... забыли, что надо утешать ребенка, — продолжает папенька.

Испуганные девчонки становятся в ряд и начинают прыгать и кувыркаться перед барышней.

Барышню отняли наконец от груди... Кормилицу удалили, чтоб барышня отвыкла от нее и перестала тосковать; но кормилица, приученная к барскому столу и к различным

удобствам в барском доме, в надежде, что авось ее снова призовут к барышне, если барышня будет больно скучать по ней, старается нарочно показываться ей на глаза. Когда няня несет ее на руках по двору, кормилица становится на дороге, пригорюнясь и качая печально головой, приговаривает так, чтоб дитя слышало ее голос:

— Отняли от меня мое красное солнышко... Похудела ты без меня, моя касаточка; уморят они тебя, мою ласточку...

Дитя, увидев кормилицу, рвется к ней. Начинается ссора между кормилицей и няней.

Няня жалуется на кормилицу барыне. Барыня наконец, под опасением строжайшего наказания, запрещает приближаться кормилице к барскому двору.

Между тем барышня уже начинает ходить и бегать. Какая радость для родителей! К ней приставлены, кроме няни, еще две девки, которые должны неотлучно находиться при ней, чтоб дитя не упало и не расшиблось. И если немного выпившая няня и полусонные девки не доглядят и дитя ушибется об угол дивана или стола и заревет, маменька в ту же

секунду вдруг выскакивает как будто из-под пола. Ее звонкий и пронзительный голос пробуждает растрепанных и полусонных девок, которые привыкли преспокойно спать под визг барышни.

— Где у вас глаза-то? Няня — старый человек, няне нельзя за ребенком везде усмотреть... ребенок резвится, бегает... а вы что? только спят да едят целый день... А вот я вас, подождите.

Девки, впрочем, не боятся угроз барыни, потому что эти угрозы никогда не приводятся ею в исполнение. У барыни доброе сердце.

— Ничего, моя маточка, — продолжает барыня, глядя по лицу дочку, — ничего...

Вишь стул какой гадкий!.. плюнь на него, душенька... Ударь его хорошенько... Вот так... Как он смел мою Катеньку? Вот мы его!..

Барышню кормят раз до шести в день, и, несмотря на это, маменька беспрестанно повторяет:

— Что это, нянюшка, мне кажется, Катенька сегодня что-то мало кушала? Здорова ли она?

— Ребенок много требует пищи в эти ле-

та, — говорит папенька, — ребенка надо больше кормить, так он расти лучше будет...

Няня с этим совершенно согласна. Она всегда ужинает, в детской в то время, когда девки укладывают барышню почивать, и, несмотря на то, что у барышни претугой животик, няня всегда еще покормит ее из своих рук или гречневой кашкой, или кислой капусткой, или тюрей.

— Ничего, лучше заснет, — говорит няня, — что смотреть-то на барыню в самом деле? Накрошит ребенку белого хлебца в бульон да и думает, что ребенок будет сыт этим... Наша пицца лучше, от нашей пицци она будет здоровее. Кушай, голубушка, христос с тобой.

Если же дитя на другой день делается нездорово и барыня спрашивает у няни:

— Отчего бы это она нездорова, няня?

Няня отвечает:

— Да, верно, с глазу, матушка. Ничего не беспокойся. Вот погоди. Я ее слизну уже вечерком, как мыть буду.<sup>1</sup> 1Операция слизывания производится следующим образом: когда ребенка вымоют в корыте, няня обыкновенно

поводит три раза языком по его спине, начиная от затылка... и потом собранную на языке сырость сплевывает через корыто.

— А, может, это к росту, няня?

— А, может, сударыня, и к росту.

Барышня делается толстым, тяжелым и сырым ребенком. Она растет более в ширину, чем в длину. Она, играя со своими забавницами девочками, беспрестанно на них сердится за то, что они лучше ее бегают, за то, что они смеют обгонять ее...

И потом на них же жалуется маменьке, а маменька при ней же и вскинется на бедных девчонок:

— Да как вы, негодницы, смеете обижать барышню? да я вам за это ушонки надеру!

Да разве вы не чувствуете, с кем играете? да разве вы не помните, что она госпожа ваша?..

Способности барышни развиваются туго: ее закармлили. И папенька, и маменька, и няня, и гости, и девки, и лакеи, и девочки — все ей только и твердят о гостинцах да об лакомствах.

— Хочешь полакомиться, хочешь бомбо-

шек? — спрашивает ее маменька по нескольку раз в день.

— Катенька-то вся в вас, дружочек, — продолжает Лизавета Ивановна, обращаясь к мужу, — уж такая жадная до яблочной пастилы, что ужась!

Если Катенька капризничает и плачет, ей няня говорит:

— Перестань же плакать. Утри глазки. А тому гостинца не дадут, кто будет плакать!

Если ею довольны, то или маменька или папенька непременно скажут ей:

— Вот ты сегодня умница. За это тебе сейчас дадут гостинца.

Гости, имеющие какую-нибудь нужду до папеньки, в угодность ему, всегда возят дочке гостинцы... И Катя спрашивает у них:

— А скоро ли вы опять к нам приедете? а скоро ли вы опять мне гостинцев привезете?..

— Вишь, какая интересанка! — замечает папенька, заливаясь добродушным смехом и смотря с любовью на дочку. — Ух, будет плут девка!..

— Катенька, хочешь быть моей невестой? — говорит гость, сажая ее к себе на ко-

лени. — Я тебя буду кормить всякий день конфетами, сладкими пирожками и вареньем.

— Хочу, — отвечает Катя.

— Уж она у нас такая сластена! — восклицает маменька. Катя охотница играть в куклы. У нее есть кукла-барышня и есть кукла-девка. У нее есть кукла-жених и есть кукла-невеста, и жених все кормит невесту гостинцами.

Нельзя сказать, чтоб маменька не хлопотала о ее гардеробе: передничкам, платьицам, панталончикам счету нет; несмотря на это, Катя никогда не бывает чисто одета.

— Что это, няня, какой на ней грязный передничек? — говорит папенька.

— Что же, батюшка, делать, ведь на нее не напасешься чистого, ну, натурально дитя резвится, бегаёт на травке, иной раз поваляется и на песке посидит; детское, глупое дело...

Евграф Матвеич большой охотник до садоводства. Он сам развел небольшой садик.

Этот садик расположен симметрически (у Евграфа Матвеича страсть к симметрии).

Деревья в садике подстрижены в виде ваз, шаров и треугольников. Дорожки усыпаны

желтым песком: ни одна травка не смеет расти там, где не следует. От этого садика, аккуратно приглаженного, вычищенного и выглаженного, все в восторге.

Евграф Матвеич сам любит им, как игрушкой, и горе тому, кто в этом садике сорвет листочек или цветочек! Он даже не на шутку однажды раскричался на свою Лизавету Ивановну, когда та, гуляя с ним в садике, оторвала, в рассеянности, ветку от куста... Но Кате позволяется все. Такова беспредельная любовь Евграфа Матвеича к дочери! Катя безнаказанно рвет цветы и ломает сучья кустов.

Когда Евграф Матвеич с супругой живут в деревне, Катя, часто смотря из окна детской вдаль на луг, пестреющий цветами, и на играющих на этом лугу девчонок, говорит няне:

— Няня, я хочу туда, к этим детям.

— И, барышня, барышня! — отвечает няня, качая головою, — чего ты только не выдумаешь? Мало тебе здесь, что ли, места бегать по саду или по двору? Мало, что ли, у тебя здесь забавниц? Ну, что тебе делать в поле? Там только простые деревенские ребятишки грязные, а ты барское дитя, тебе нечего там де-



лать с ними.

Палашка — одна из дворовых девчонок, забавляющих барышню, пользуется особенно ее милостию. Палашка ее фаворитка. Барышня даже дает ей гостинцы, и, если это случается при няне, няня обыкновенно говорит Палашке:

— Ну, что же ты, дура, стоишь? Кланяйся барышне да целуй ее ручку...

А родители иногда, смотря на это, восклицают в умилении:

— Что это, какое у нашей Катеньки доброе сердце!

Но раз как-то, играя, Палашка вздумала поцеловать барышню. Барыня увидела это, всплеснула в ужасе руками и бросилась к няне:

— Помилуй, няня, что это такое? да на что это похоже? да как же это ты позволяешь девчонке, простой девчонке, целовать барышню? Как же ты ее не остановишь? Как же она, мерзкая, так смеет забываться?

И потом она продолжала, обратясь к Палашке:

— С чего ты, этакая дрянь, взяла, что ты

можешь целовать барышню? Что, ты ей равня, что ли? А знаешь ли ты, что за это я велю тебя выгнать в людскую, чтоб ты и глаз в барские комнаты не смела показывать?.. Ты должна, дура, чувствовать, кого ты забавляешь.

# Глава III

## Воспитание барышни

Барышне минуло шесть лет. Пора моей барышне и за азбуку приниматься. И в самом деле, папенька уже купил ей азбуку с картинками.

— Вот видишь ли, душенька, — говорит ей папенька, указывая на картинки, — вот буква А... видишь ли арбуз? Вот Е — елка; а Э, другое, навыворот, Этна, огнедышащая гора... Видишь, вот огонек из нее выходит?.. Хорошие картинки? а?

Барышня выхватывает книжку из рук папеньки и бежит показать картинки няне. Через неделю от этой азбуки остаются целыми только три листика. Папенька покупает другую азбуку. И другую, и третью, и четвертую, и даже пятую постигает та же участь. Впрочем, по уничтожении шестой моя барышня, надо отдать ей справедливость, начинает читать по складам.

— А что, голубчик, — говорит Евграф Матвеич своей супруге, — нам об Катенькето

надо хорошенько подумать. До сих пор она все училась у нас шутя, играючи, а теперь ей пора посерьезнее заняться. Как ты об этом думаешь?

— Да не рано ли будет? — возражает Лизавета Ивановна. — Ведь еще время не ушло, ведь она еще у нас совсем ребенок. Пусть ее, моя пташечка, еще немножко побегает.

Евграф Матвеич качает головою.

— Оно точно, коли признаться, и по-моему немного рано; однако посмотри, голубчик, ведь губернаторские-то дочки в ее лета уже болтают по-французски.

Лизавета Ивановна задумывается. Евграф Матвеич продолжает:

— Как ни думай, а Катеньку надо воспитать нам как следует. Она у нас одна, единственное сокровище; для нее нам уж ничего жалеть не приходится. Нынче, например, без французского языка и обойтись нельзя. Что делать! время такое.

Посмотришь, девчонки еще от земли не видно, еще и по-своему-то говорить не умеет, а уж по-французски стрекочет, — настоящая чечетка!

Лизавета Ивановна печально вздыхает. Евраф Матвеич опять продолжает:

— В прошедший понедельник у предводителя мы разговорились с Никанором Григорьичем о том о сем; он между прочим и говорит мне: "Не имеете ли намерения отдать вашу дочку в институт? Мою, говорит, я отвожу непременно на следующую зиму..." — В институт! — вскрикивает Лизавета Ивановна, — в институт! Чтоб я мою Катеньку отдала в институт, чтоб я рассталась с моим ангелом! Да я лучше соглашусь заживо лечь в могилу, чем расстаться с нею!

— Полноте, голубчик, Христос с вами! Кто вам говорит об этом? Я и сам ни за какие блага не решился бы на это... Единственную дочь отдать из дома! Слыханное ли это дело! Да разве у меня каменное сердце?

— К чему же вы и упоминали об институте?

— Позвольте, вы мне не дали докончить. Никанор-то Григорьич и говорит мне: ну, а если вы не желаете, говорит, отдать в институт, так, вероятно, вам понадобится гувернантка? И посоветовал мне для этого заглядывать в

"Московские ведомости".

По «Московским», говорят, «ведомостям» часто выписывают очень хороших гувернанток. Я, говорит, сам для одних своих родственников выписал таким образом отличнейшую гувернантку и за дешевую цену.

— Ну, это другое дело. Без гувернантки уж, конечно, нельзя обойтись, — замечает Лизавета Ивановна.

— Ах! — восклицает Евграф Матвеич, — какое трудное дело воспитание детей в нынешнее время! Голова кругом пойдет, как подумаешь об этом!

Необходимость гувернантки решена.

И с этой минуты Евграф Матвеич постоянно и внимательнее, чем когда-нибудь, начал прочитывать "Московские ведомости".

Однажды он остановился на следующем объявлении:

"Молодая девица, благородного происхождения, из русских, но знающая в совершенстве языки французский, немецкий, английский и отчасти итальянский и свободно объясняющаяся на первых трех языках, также могущая обучать и первоначальным прави-

лам музыки, сама играющая на фортепьяно и на арфе, притом имеющая о себе одобрительные аттестаты от особ, заслуживающих доверие, желает определиться в какой-либо благородный дом гувернанткою или собеседницею за весьма умеренную плату. Она соглашается и на отъезд в провинцию или за границу.

Спросить об ней на Плющихе, в приходе Николы на Пометном Вражке, в доме под NN<sup>o</sup> таким-то".

"Да это просто клад! — подумал Евграф Матвеич. — Четыре языка в совершенстве знает, да еще при этом и музыке обучает... Покорно прошу! Да еще сверх того и русская... и молодая девица; может, еще хорошенькая..." Добрый Евграф Матвеич как-то странно улыбнулся и покраснел, как будто какаянибудь не совсем скромная мысль промелькнула в голове его. Он, в отсутствие супруги, иногда позволял себе поглядывать на хорошеньких; впрочем, внутренне упрекал себя за это и всякий раз со вздохом говорил самому себе: "что это, как подумаешь-то, как слаб человек!" Евграф Матвеич раза три или четыре прочитал заманчивое объявление, не веря глазам своим,

отметил сначала ногтем, потом карандашом, потом чернилами и, наконец, опрометью бросился с листом газеты к своей Лизавете Ивановне.

Когда Лизавета Ивановна прочла строки, указанные ей супругом, она сказала:

— Все это хорошо, дружок, да только я боюсь, не ветреница ли это какаянибудь. Вишь, тут сказано, что молодая...

— Отчего же? может быть, и не ветреница. Часто и из молодых встречаются очень скромные.

Супруги долго трактовали об этом предмете и наконец решились выписать "молодую девицу, знающую в совершенстве четыре языка и играющую на фортепьяно и на арфе".

Через месяц она была привезена.

Ей на лицо казалось лет за двадцать за семь. Она была ни хороша, ни дурна, но полна. Говоря, имела привычку закатывать глаза под лоб; вместо р произносила л, изъяснялась языком несколько книжным и, по всем приметам, очень желала нравиться.

Евграф Матвеич с первого взгляда остался ею доволен.



Лизавета Ивановна заметила, что она слишком жеманна.

Евграф Матвейч возразил, что это еще ничего не доказывает, что, может быть, она всегда жила в знатных домах; а известно, что в знатных домах всегда особенные манеры и совсем другое обращение, нежели в среднем кругу. И точно: гувернантка чрез несколько времени объявила полковнице, что она все жила в Москве в самых знатных домах, что ее везде любили и обращались с нею, как с родственницей; что она никогда не рассталась бы с домом княгини Кугушевой, если б только князь Кугушев не вздумал ей однажды объясниться в любви; что после такого оскорбительного для ее чести поступка со стороны князя Кугушева она уже никак не могла оставаться в его доме; что она обо всем тотчас же рассказала княгине; что княгиня, расставаясь с нею, заливалась слезами и говорила: "я никогда не забуду вас, милая Любовь Петровна!"; что она везде, где ни жила, старалась главное — дорожить своей репутацией, потому что она беззащитная девушка и притом круглая сирота; что ее родители некогда были

очень богаты и потому воспитывали ее самым блестящим образом, но потом, по особенному какому-то несчастью, вдруг лишились всего; что она вследствие этого решилась скитаться по чужим домам для того, чтоб содержать своих стариков; что они, умирая, называли ее беспримерной дочерью, и прочее, и прочее.

Лизавета Ивановна до того была тронута этим рассказом, что даже прослезилась.

Она сказала потом мужу:

— Послушайте, голубушка, уж нам надо обращаться с нею не так, как с простою гувернанткою; ведь она из дворянок... Правда, сначала она показалась мне немного жеманною... ну, это точно оттого, что она, должно быть, привыкла там, в знатном кругу, к такому обращению; но нравственность у ней прекрасная, и она так мило, так солидно обо всем рассуждает... Да надобно сказать ей, дружок, чтоб она как можно нежнее и деликатнее обращалась с Катенькой и не слишком вдруг налегла на нее, чтоб, знаете, этак исподволь приучала к наукам, а то ведь беда: дитя с непривычки и захворать может.

— Когда же прикажете начать наши занятия с мамзель Катрин? — спросила гувернантка у Лизаветы Ивановны дней через пять после своего приезда.

— Погодите еще немножко, моя милая, — отвечала Лизавета Ивановна, — не торопитесь. Вы еще с дороги немножко поотдохнете, а ребенок покуда к вам попривыкнет да попривыкнет.

Утром, в тот день, в который барышне назначено было начать ученье, маменька, сопровождаемая папенькой и няней, явилась в учебную комнату с образом Казанской божьей матери. Маменька была в волнении, глаза ее были красны. Она осенила Катю образом и проговорила голосом торжественным, полным слез и дрожащим от чувства:

— Пусть она, пресвятая и пречистая Дева, наставит тебя на всякую истину и на всякое добро! Приложись, душенька.

Катя, а за нею и гувернантка приложились к образу. Тогда маменька поставила образ на стол, покрытый чистою салфеткою, и сказала:

— Помолимся же теперь за ее успехи. И все начали молиться.

По окончании молитвы маменька взяла Катю за руку и подвела к гувернантке.

— Вот вам, Любовь Петровна, моя Катя. Прежде всего, прошу вас, не будьте к ней слишком взыскательны и строги. А коли она в чем-нибудь проштрафится, относитесь прежде ко мне. Мы вместе и подумаем, как бы ее исправить. А ты, душенька (Лизавета Ивановна обратилась к дочери), должна во всем слушаться свою наставницу и стараться заслужить ее любовь... Ну, теперь благослови тебя бог!

Маменька перекрестила Катю и поцеловала ее.

— Учись, Катюша, прилежно, — сказал папенька и также перекрестил ее и поцеловал.

Затем няня подошла к своей питомице, обняла ее и зарыдала над нею, как над умирающею.

Затем разревелась Катя и вследствие этого долго не могла приняться за урок.

Гувернантка занималась с Катей только по утрам, и во время этих занятий маменька обыкновенно по нескольку раз взглядывала из полурастворенной двери и обыкновенно

говорила:

— А что, Любовь Петровна, не довольно ли?.. Мне кажется, у Кати сегодня что-то головка горяча; да и она, моя крошечка, всю ночь была беспокойна. Не отложить ли лучше урок до завтра?

Если не болезнь, то выискивается какой-нибудь другой предлог для освобождения Кати от ученья. Ум маменьки чрезвычайно хитер и изобретателен в этом случае.

Когда маменька и папенька спрашивали у гувернантки:

— Ну, что, милая Любовь Петровна, успевает ли наша Катенька? довольны ли вы ею?

Гувернантка, как девица тонкая и хитрая, обыкновенно отвечала:

— Я вам скажу по совести, что такого понятливого, благодетельного и милого дитяти я еще и не видала. Вот и у княгини Кутушевой Наденька прекрасный ребенок: но ее, по способностям, и сравнить невозможно с вашей Катечкой. Ваша Катечка — феномен! Признаюсь, я ни к одной еще из моих воспитанниц не была так привязана, как к ней. В продолжение года она сделала такие успехи во фран-

цузском языке, что просто невероятно!

Своим поведением и в особенности такими похвалами Кате, повторявшимися очень часто, гувернантка приобрела совершенную доверенность и любовь ее родителей.

Гувернантка обладала замечательным даром слова, то есть сплетничала немилосердно. Надобно заметить, что Лизавета Ивановна, несмотря на доброту своего сердца, чувствовала также некоторое поползновение к сплетням, подобно всем барыням, и поэтому находила несказанное удовольствие в обществе Любви Петровны. Гувернантка получила значение в доме. Она завела между дворовыми девками двух фавориток: Машку и Соньку и приняла под свое покровительство одного лакея, Фомку, который в особенности подольщался к ней, — объявив остальным девкам и лакеям войну непримиримую. На этих остальных она беспрестанно наговаривала и жаловалась то барину, то барыне. Дворня пришла в волнение...

Девки передрались и перессорились между собою, лакеи грозились отдубасить Фомку и называли его шиматоном.

Няня ненавидела гувернантку (няни вообще ненавидят гувернанток) и приходила в ужасное негодование при одном ее имени.

— И говорить-то о ней не хочу. Вот ей — тьфу! (Няня плевала.) Ее дело только каверзничать... да вот погоди ты у меня! (Няня грозилась пальцем.) Я выведу твои шашни на чистую воду. Дай срок! Будешь ты у меня с офицерами перемигиваться.

Но няня слишком увлеклась личной враждою и, подобно всем няням, не отдавала должной справедливости гувернантке... А моя барышня точно была ей обязана многим. Успехи Кати во французском языке не были подвержены ни малейшему сомнению... Она утром, целуя ручку папеньки, лепетала: бонжур папа; вечером, прощаясь с маменькой и обнимая ее, говорила: бонюи, маман... Она выучила наизусть две басни Лафонтена и брэнчала на фортепианах качучу, ежеминутно, впрочем, сбиваясь с такту, — и всякий раз при гостях по приказанию родителей, пробормотав эти две басни, садилась за фортепиано. И гости — знающие и не знающие по-французски, имеющие музыкальное ухо и не име-

ющие его, всякий раз от этого бормотанья и бречанья приходили в восторг совершенно одинаковым образом, и родители всякий раз, глядя на Катю млеющими глазами, гладили ее по голове и потом говорили, указывая на гувернантку:

— Всем этим она обязана Любви Петровне...

Катя также выучилась плясать с шалью и по-русски, но плясала при гостях только в торжественные случаи, то есть в именины и рождение родителей...

И тогда обыкновенно раздавались со всех сторон одобрительные возгласы, смешанные с рукоплесканиями. У Евграфа Матвеича в таких случаях от удовольствия показывались слезы на глазах, и он, толкая гостя и указывая ему на дочь, говорил:

— Ну посмотри, Яков Иваныч, как мило, как ловко... а плечиками-то как поводит!..

Глядя на все эти штуки, губернские барыни кричали в один голос:

— Ну, уж касательно чего другого мы не знаем, а надо отдать справедливость Лизавете Ивановне, что она очень, очень мило вос-



питывает свою дочку. Даже можно сказать, блестящим образом.

Гувернантка и нежные родители называли Катю всегда послушным ребенком...

Впрочем, гувернантка отзывалась так о своей питомице только при гостях и при нежных родителях; а наедине очень часто, выведенная из терпения капризами Кати, бормотала сквозь зубы:

— У! мерзкая девчонка, если б моя воля — я так бы тебя выдрала!..

И в самом деле, моя барышня любила иногда покапризничать.

Если гость говорил Кате:

— Здравствуйте, Катенька, пожалуйста ручку. Катя непременно начинала ломаться и пищала:

— Не хочу, оставьте меня...

И тогда или папенька, или маменька, или оба они в один голос восклицали:

— Катечка, душенька! что это такое? Это не хорошо, это стыдно... дай сейчас Петру Антоновичу ручку...

И потом, обращаясь к гостю, маменька и папенька замечали:

— Не понимаем, что это сделалось сегодня с Катей: она у нас обыкновенно такая послушная...

Вице-губернаторшу господь благословил дочками, кроме Коли — Катенькина жениха — у нее есть Петя, Наташа, Даша, Анеточка, Верочка, Дунечка. И вице-губернаторша часто со всем семейством на целый день приезжает к Лизавете Ивановне. В эти дни подымается в доме страшный шум, писк и визг, гувернантки и няньки бегают за детьми из одной комнаты в другую. И среди этого шума, писка и визга раздаются крики:

— Прене гард, мамзель Натали или мамзель Аннет, ву томбре.

— Что это ты, сударыня, выдумала? разве можно бить братца?.. Ах ты пакостница этакая! а вот я маменьке скажу!..

Катя целует Колю и спрашивает у папеньки:

— Папа, ведь это мой жених?

— А разве ты Сергею-то Яковлевичу изменила? — возражает папенька. — Помнишь, ты хотела выйти за него замуж, а он обещал тебе много конфект и пирожков.

— Не хочу его, — пищит Катя сквозь слезы, — он гадкий, рябой; мой жених не он, а Коля.

— Что ж, Лизавета Ивановна, — говорит с приятностью вице-губернаторша, тасуя карты, — пора, я думаю, подумать и об их свадьбе? Как вы думаете?

Приготовляйте-ка невесте приданое.

Все смеются.

Барышня заметно начинает подрастать, способности ее помаленьку изоощряются.

Прежде для нее существовали только гостинцы, теперь для нее одних гостинцев мало: ее начинают занимать и платица и платочки... Она одевает свою куклуфаворитку в шелковое платье, втыкает в голову цветы и говорит девочке, играющей с нею:

— Видишь ли, Палашка, она поедет на бал танцевать, — там будут офицеры...

Роковое слово «офицеры» уже произнесено барышнею! Она так часто слышит это слово от всех, в особенности от гувернантки и от ее фаворитки Соньки.

Гувернантка, например, наряжается; фаворитка Сонька затягивает ей корсет и говорит:

— Барышня, наденьте сегодня пунцовое платье... оно ужасно как к вам идет...

Сегодня еще, может быть, у нас кто-нибудь да будет...

— А которое ко мне больше идет, Соня: голубое или пунцовое?

— Пунцовое, барышня, к вам не в пример больше идет, да и ихний любимый цвет пунцовый.

— А ты почему знаешь?

— Да уж я знаю-с.

Сонька потупляет глаза.

— Ах, да, я и забыла... — Гувернантка грозит горничной пальцем.

Сонька усмехается и вдруг подбегает к окну...

— Барышня, барышня... офицер!

— Офицер?.. (Гувернантка накидывает на себя платочек и бросается к окну.) — Ах, какой хорошенький, Соня! Да это, кажется, Макавеев... посмотри, какая у него ножка... Ну, только талия у него хуже, чем у Валуева... гораздо хуже...

Всякий раз, когда к Евграфу Матвейчу являлись офицеры, гувернантка смотрела на

них или в щелку двери, или в замочную скважину... и сердце ее сильно билось, если между ними красовался один белокурый, высокий, курчавый и с большим носом.

Этот офицер вообще почему-то нравился многим губернским барышням и в особенности одной, которую очень любила Лизавета Ивановна... Гувернантка, узнав это, возненавидела ее, начала употреблять все меры, чтоб поссорить ее с Лизаветой Ивановной, — и наконец достигла своей цели. И добрая Лизавета Ивановна, которая создана была, чтоб жить со всеми в ладу, быть приветливой и ласковой ко всем, и к дурным и к хорошим людям, вдруг прекратила всякие сношения с своей лучшей приятельницей, к величайшему удивлению не только ее, но и всего губернского города...

Лизавета Ивановна была совершенно, как говорится, ослеплена гувернанткой и даже не замечала того, что гувернантка в присутствии ее бросала очень странные и не совсем скромные взгляды на Евграфа Матвеича, от которых он приходил всегда в волнение и замешательство. К чести Евграфа Матвеича на-

до заметить, что он всегда умел побороть в себе всякую искустительную мысль, которая порою случайно забегала в его облысевшую голову... К тому же он всегда чувствовал необыкновенную робость, если ему случалось быть наедине с женщиною.

Однажды под вечер, в отсутствие своей Лизаветы Ивановны, он встретился с гувернанткой в темном коридоре...

— Ах, кто это здесь? — вскричала гувернантка, притворясь испуганной.

— Ничего, ничего-с, не пугайтесь; это я-с... — проговорил Евграф Матвеич дрожащим голосом.

— Это вы, Евграф Матвеич?

— Да-с.

— А у меня, вообразите, так и замерло сердце? Мне показалось, что кто-то чужой.

— А вы куда изволите идти?

— Я иду к себе в комнату.

— К себе в комнату-с?

Евграф Матвеич колеблющимися шагами приблизился к гувернантке.

— А вы куда? — спросила она его шепотом.

— Я-с... я-с... я так здесь искал человека-с...

Фильку... Евграф Матвейч пришел в неописанное замешательство и вдруг закричал:

— Позвольте поцеловать-с вашу ручку!.. — схватил ручку Любви Петровны, крепко прижал ее к губам своим и потом, как будто преследуемый кем, из всех сил пустился бежать к себе в кабинет, оставив Любовь Петровну в совершенном недоумении и изумлении. С этих пор он явно старался избегать встречи с нею в коридоре.

Когда Кате минуло одиннадцать лет, гувернантка объявила папеньке и маменьке, что для ее питомицы необходимо теперь нанять учителей, которые бы обучали ее высшим наукам, что она высшие науки преподавать не может, а будет по-прежнему заниматься с ней языками (закону божию уже давно обучал ее отец диакон). Любовь Петровна заметила между прочим, что у вице-губернаторских дочерей гувернантка сама по себе, а учителя, кроме того, сами по себе и что уж это всегда так водится в хороших домах...

— А коли это нужно, так против этого мы спорить не будем, — сказала Лизавета Ивановна. — Мы не захотим, чтоб наша Катенька

в чем-нибудь отстала от других...

Потом она обратилась к мужу и прибавила:

— Уж это, дружок, твоя забота нанять учителей, каких нужно. Я в этом деле — сторона.

Учителя математики, истории и рисования тотчас же были наняты по рекомендации инспектора губернской гимназии.

Преподавание же российской словесности взял на себя тот самый пьяный семинарист, который за обедом на крестинах барышни произнес торжественную оду...

— Вы не смотрите на то, что он шут, — обыкновенно говорил об нем Евграф Матвеевич, — он точно что ломается, кривляется, всякий вздор болтает, да это все не мешает ему быть ученым... поговорите-ка с ним серьезно, просто книга, заслушаешься; а уж о стихах и толковать нечего — стихи ему нипочем, на какой хотите предмет задайте — он вам так и начнет без запинки резать. Не будь он горький пьяница, не пей он запоем, да это был бы просто драгоценный человек и, может быть, пошел бы далеко!..



В продолжение двух лет учителя постоянно дают уроки барышне. Два года проходят незаметно.

Я не могу наверно сказать, до какой степени она успела в высших науках под руководством пьяного семинариста, учителей, нанявшихся по сходной цене, и гувернантки, которая перемигивалась с офицерами; но барышня значительно округлилась и выросла в эти два года. Ей уже четырнадцать лет, а на лицо кажется даже более. Она уже затянута в корсет, она уже закатывает глаза под лоб, по примеру своей гувернантки, и знает, какой цвет идет к лицу и какой не идет; она уже прочитала два романа Поль-де-Кока, которые валялись в комнате ее гувернантки... Она уже в именины папеньки протанцевала две или три французские кадрили с офицерами и сказала маменьке:

— Ах, тама! когда у нас будет еще бал? Я так люблю танцевать!

Маменька и папенька не могут достаточно ею налюбоваться и говорят друг другу:

— Вот под старость-то будет нам утешением!

И все идет своим чередом в доме Евграфа Матвейча: только Лизавета Ивановна стала в последнее время замечать, что гувернантка держит себя уже чересчур вольно; что на танцевальных вечерах она совершенно забывает о существовании своей воспитанницы и так и носится в танцах сломя голову с офицерами; что на последнем бале (на именинах Евграфа Матвейча) она вдруг исчезла из танцевальной залы и что ее везде искали и не могли отыскать... Все это показалось Лизавете Ивановне странным. И она стала внимательнее слушать рассказы няни о разных подвигах гувернантки.

— Ах, няня! — восклицала Лизавета Ивановна, — да неужели же это правда?

А няня возражала:

— Убей меня бог, матушка, пусть лучше у меня язык отсохнет, если я лгу... Коли мне не веришь, спроси у Евдокима. Он все своими глазами видел...

Но Лизавета Ивановна все еще сомневалась. Она не легко расставалась с своими убеждениями, хотя все ее убеждения никогда ни на чем не основывались... "Да как же, —

думала она, — я всегда считала Любовь Петровну прекрасной, скромной девушкой, а теперь она вдруг сделалась дурная?.." У Лизаветы Ивановны кружилась голова при мысли, что ей нужно будет совершенно изменить мнение о гувернантке.

— Да нет, этого быть не может, — говорила Лизавета Ивановна самой себе, но, к величайшему своему ужасу, в одно прекрасное утро, попристальнее рассмотрев гувернантку, не могла не убедиться в справедливости слов няни... И гувернантку выгнали из дома.

Это происшествие сильно подействовало на Лизавету Ивановну; она не шутя призадумалась, тяжело вздохнула и сказала Евграфу Матвеичу:

— Вот, голубушка, думали ли вы, что она такого сраму нам наделает?.. Вот подлинно, в чужую душу не влезешь. Вот уж истинно говорят, что чужая душа потемки.

Няня недолго пережила гувернантку.

Вскоре после смерти няни и происшествия с гувернанткой Евграф Матвеич, по покровительству одной значительной особы, которая приходилась ему сродни, получил весьма вы-

годное место в Петербурге...

Лизавета Ивановна век готова была не покидать этих мест, где она родилась, выросла и начала стариться, где все было так знакомо, так близко ее сердцу, где каждый шаг пробуждал в ней воспоминание ее детства и молодости, где, наконец, заключалась ее святость — прах родителей.

За неделю до отъезда своего в Петербург Евграф Матвеич и Лизавета Ивановна задали прощальный обед в своем селе Ивановском, а в день отъезда, тотчас после обедни и напутственного молебна, пошли на кладбище. Когда Лизавета Ивановна поравнялась с могилами своих родителей, она схватила дочь за руку.

— Здесь лежат твой дедушка и твоя бабушка, — сказала она рыдая, — помолись, Катенька, поклонись в землю, проси их благословения... — Она хотела сказать еще что-то, но слезы задушили ее.

Когда ее подняли, она крепко сжала руку мужа и произнесла, указывая на могилу:

— Если я умру на, чужой стороне, не оставляйте меня там... Ради бога не оставляйте...

Пусть мой прах будет лежать здесь, в родной  
земле, возле их праха... Не разлучайте нас...

# Глава IV

## Барышня-невеста

Сначала Лизавете Ивановне и Евграфу Матвеичу показалось дико в Петербурге.

Лизавета Ивановна, между прочим, долго не могла привыкнуть к мысли, как в одном доме могут помещаться по несколько семейств, совершенно незнакомых друг с другом, и с беспокойством спрашивала Евграфа Матвеича: "Кто это, дружок, живет с нами стена об стену? да хорошие ли это люди? да нет ли в нашем доме какойнибудь сволочи, каких-нибудь дурных женщин?" Ей также очень неприятно было, что в Петербурге плохи кладовые и ледники и что в квартирах нет никакого хозяйственного устройства: ни чуланчиков, ни полочек... "Уж тут нечего и думать о хозяйстве, — со вздохом замечала она, — какое тут хозяйство, без удобства и без простора: здесь люди живут как сельди в бочонке!" Глядя на пятиэтажные дома, она обыкновенно говорила: "Да это настоящее вавилонское столпотворение! Долго ли тут до

греха?.." Невский проспект совсем ей не нравился. "Что это такое? Экий Содом! Экая гибель народу! — твердила она. — И не в пример еще хуже, чем у нас на ярмарке... того и гляди, что или с ног сшибут, или лошади задавят, или дышлом убьет!" И потом обыкновенно прибавляла, глядя в окно: "Одно только меня здесь, на нашей квартире, и радует, что по крайней мере храм божий перед глазами: только через дорогу перейти". Между прочим, Лизавета Ивановна находила еще, что в Петербурге народ грубый, необразованный, что когда идешь по улице, то никто посторониться не хочет и внимания никакого не обращает; что в Петербурге никому до нее нет дела, никто и знать ее не хочет, тогда как в своем губернском городе она лицо почтенное, всеми уважаемое и что там на улице перед нею все шапки снимают. Но весной и летом Лизавете Ивановне особенно было тяжело и грустно...

Весной и летом Петербург ей казался просто нестерпимым, потому что в это время всегда живее воскресали в ее памяти и бесконечное поле, волнующееся рожью, и лес, дыша-

ций смолистой, благоуханною свежестью, тот лес, в котором она, бывало, собирала грибы; и речка с крутыми и живописными берегами, в которой деревенские мальчишки ловили раков, и гумно, гладкое, уставленное скирдами хлеба, и ряд почернелых изб, и плетень при въезде в деревню, и праздничные хороводы крестьянских девок, и заунывная песня мужика, возвращающегося с барщины... Все, все... Сердце Лизаветы Ивановны так и ныло, так и разрывалось при этих воспоминаниях. Что касается до Евграфа Матвеича, он находил много хорошего в Петербурге. Ему нравились, например, блестящие магазины Невского проспекта, и он часто останавливался перед ними и думал: "Пустая роскошь, а для глаз приятно".

Еще ему нравился в Петербурге турецкий табак дюбек Саркиса Богосова, по 5 рублей фунт; но более всего нравились ему Милютины лавки. "Тут все, — рассуждал Евграф Матвеич сам с собою, — что душа просит: и балык, как янтарь, и фрукт сочный, румяный, и окорок провесной, жирный, и киевское варенье, и пастила яблочная, и сыр швейцар-



ский со слезой, и икра зернистая свежая, и лук шпанский, и эти масляные рыбки в жестяных коробках... как бишь их... ну, да словом сказать, все, все!.." И он, бывало, никогда не проходил мимо Милютиных лавок, непременно зайдет в свою знакомую лавку и отведаст то того, то другого: то соленького, то сладенького, то кисленького, полюбуется то тем, то другим; понюхает то того, то другое, спросит:

— А это, братец, что у тебя такое в баночке?

— Мармолат, ваше превосходительство.

— Ну, а там, вон направо, в бочке-то?

— Виноград, ваше превосходительство.

— А! дай-ка, братец, кисточку винограда.

Ну, а вон, в углу-то... четвертая от угла банка... это что такое?..

И Евграф Матвеич, по обыкновению, долго не отводил страстных очей от всех этих жестянок, склянок, банок и бочек и, при каждом посещении лавки, отыскивал в ней что-нибудь новенькое, что-нибудь замечательное.

Покорясь необходимости и помаленьку устроясь, Евграф Матвеич и Лизавета Иванов-

на нашли нужным продолжать воспитание дочери. Они наняли для нее танцмейстера, компаньонку, которая называла себя французской, а была из немок и могла давать уроки на фортепиано, и учителя русского для всех наук.

В семнадцать лет воспитание Кати было совершенно окончено. По-французски хотя она и не говорила отлично, но могла поддерживать обыкновенный разговор, танцевала очень недурно, вальсировала довольно легко и разыгрывала на фортепиано балльные танцы довольно бегло. Чего же больше?

Итак, наступила торжественная минута в жизни моей барышни. Ее надобно было вывести в свет.

Какой-то приговор произнесет свет над моею барышнею?

Лизавета Ивановна, разумеется, вскоре по своем приезде в Петербург познакомилась со многими дамами так называемого среднего круга. Для нее это была горькая необходимость, жертва, которую она безропотно приносила дочери нежно любимой, ибо в обществе всех этих петербургских барынь, отпус-

кающих французские фразы, беспрестанно толкующих о княгинях и о графинях, о последних модах и о хорошем тоне, Лизавете Ивановне было тяжело и неловко. Она не умела принимать участия в их тонких и любезных разговорах, не вмешивалась в их прекрасные рассуждения о нравственности и приличии, не могла сочувствовать, ни их интересам, ни их сплетням. Безмолвно слушала она этих барынь и, смиренно сознавая собственное ничтожество, только удивлялась их уму и образованию. Ее поддерживали и выручали в самые критические минуты карты, потому что все эти умные и светские барыни, подобно моей Лизавете Ивановне, были охотницы играть в преферанс по десяти копеек медью.

Лизавете Ивановне хотелось пристроить свою Катеньку за хорошего и солидного человека. Это очень понятно: ведь не век же ей было сидеть под крылышками папеньки и маменьки. Зачем же и на воспитание барышень тратятся родители, как не для того, чтоб этим воспитанием приманивать женихов? И Лизавета Ивановна очень справедливо рас-

суждала, как рассуждают все маменьки, что, только вывозя дочку в свет, можно надеяться устроить ее участь; но она, по простоте своей, никогда не решилась бы прибегать к тем средствам, к которым иногда прибегают отчаянные петербургские маменьки для сбывания с рук своих дочек. Ей не пришло бы, например, в голову заставлять дочь кокетничать и употреблять все роды соблазнов перед каким-нибудь беспутным богачом оттого только, что тот однажды, и то нечаянно, навел в театре лорнет на их ложу; она не стала бы разглашать по всему городу, что ее дочь выходит за г-на N. N., когда г. N. N. и не думает о ее дочери, и не решилась бы поддерживать своего кредита в магазинах именем этого гна N. N.; она не могла бы обещать жениху своей дочери и капиталы и деревни в приданое, а после брака объявить зятю и дочери, что она покуда, к сожалению, ничего не может дать им, а что со временем, если позволят обстоятельства, и прочее, да еще в довершение всего заставить легковерного зятя заплатить за венчальное платье...

Все это казалось Лизавете Ивановне про-

сто несбыточным, и она говорила с свойственным ей простосердечием:

— И верить не хочу, чтоб были на свете такие матери...

Но обратимся к барышне. Уж близка решительная и желанная минута ее жизни.

Сегодня бал у одной из тех генеральш, с которыми знакома ее маменька. Бал!.. О блаженство. На этом бале она первый раз предстанет свету! Сердце ее бьется и замирает; ей мерещится то золотой, то серебряный эполет; перед ней уже, кажется, трепещут аксельбанты... ах, как она любит аксельбанты! Ей слышатся порою звуки вальса и бренчанье шпор... А часы идут так медленно, досадные часы!.. А уж бальное платье готово... вот оно висит на стуле; и какое платье, если б вы видели! и как обрисовывает роскошные ее формы! Парикмахер-француз уже причесал ее; на ее темных волосах белая роза... Барышня то посидит на стуле и помечтает, то подбежит в волнении к зеркалу...

Маменька и папенька в такой же тревоге, как и она.

— А что, хорошо ли, голубчик, будет одета

наша Катенька? — спрашивает с беспокойством папенька у маменьки.

— Не знаю, дружок, — отвечает вздыхая маменька, — но на ней будет все хорошее и дорогое; все, кажется, так, как следует; а впрочем, бог знает...

Вот наконец барышня совсем одета... Боже мой! какая у нее талия! но она еле дышит, бедная барышня.

Маменька уже несколько раз осмотрела ее с ног до головы. И папенька начинает ее осматривать.

— Мило, мило, — замечает генерал, — да только, мне кажется, грудь-то уж очень открыта. Прилично ли это?

— Ах, папа, — восклицает барышня, — какие вы смешные; да ведь все так носят...

Бал великолепный. Все, как водится: и в зале накурено одеколоном, и лампы горят довольно ярко, и много генералов военных и штатских со звездами, и музыка гремит, и мороженое разносят, и расплывшиеся барыни в чепцах сидят кругом стен, и барышни, нарядные и перетянутые, прыгают под музыку с офицерами. Царицы бала — две дочери хозяй-

ки, Sophie и Lise, полненькие и беленькие, с томными глазками.

Они слывут красавицами; от них с ума сходят мои приятели-офицеры, и о существовании их знают даже в высшем свете... Штатских немного, человек пять, да и то один из них не танцует, а ходит по комнатам, беспрестанно зевая (хотя ему зевать совсем не хочется), и иногда приставляет к глазу лорнет, с равнодушной и несколько презрительной гримасой посматривая на барынь, на барышень, на кавалеров, на потолок и на стены. Он всем хочет показать, что случайно попал в это общество, которое гораздо ниже его... Говорят, будто этот господин в самом деле принадлежит к высшему свету, — что мудреного! Не даром же хозяйка дома более всех ухаживает за ним.

Ослепленная и пораженная блеском бала, барышня робко вступила в залу.

"Ах, сколько здесь офицеров! — подумала она. — Ах, как здесь должно быть весело!" Но она не смела ни на кого взглянуть. Она проходила через залу, покраснев и потупив голову. И взгляды всех обратились на нее, как на

лицо новое...

— Это еще что такое? Кто это такая? — спросила глухая и брюзгливая старухабарыня у своей соседки, показывая на барышню и неблагосклонно осматривая ее с головы до ног в лорнет. (У брюзгливой старухи-барыни пять дочерей — пять! и ни одна не замужем!) — Кто же это такая, матушка?.. а?

— Это, кажется, дочь Ветлиной, — закричала ей на ухо соседка...

— Какая жирная! — пробормотала себе под нос старуха. — Как раскормили ее!.. (У брюзгливой старухи-барыни все пять дочерей тонки, как спички.) — Ах, та chere, — говорит одна барышня другой барышне, смотря на мою барышню прищурясь, — взгляни, бога ради, как она затянута... Бедная! на нее смотреть жалко... Вот уж не понимаю, что за охота так тянуться...

А барышня, говорящая эти слова, сама до того затянута, что ей нет никакой возможности наклониться; в продолжение бала ей уже делалось три раза дурно.

— А что? ель не па маль, — толкуют между собою офицеры о барышне.



— Так, живет себе.

— А каковы плечики-то!

— И очень... Только Таня, кажется, немножко повыше ее.

Один из офицеров ангажирует барышню... Она подает ему руку, и рука ее дрожит...

Лизавета Ивановна не спускает глаз с Кати... Лизавета Ивановна даже отказалась от преферанса...

Евграф Матвеич и играет в карты, но он не покоен. Он часто вскакивает из-за карт посмотреть, что делает Катя.

А Катя так счастлива! Она беспрестанно танцует; на мазурку ангажирует ее какойто штатский. Это ей немножко досадно. Она не любит штатских...

Штатский, танцевавший с нею мазурку, — хотя не франт, но одет очень аккуратно и прилично: в черном фраке, в белом жилете, в желтых перчатках. Он небольшого роста, имеет круглое и румяное лицо, с которого не сходит приятная и почтительная улыбка... Он говорит необыкновенно вежливо и, говоря, всегда наклоняет свой стан немного вперед. Все знакомые дамы без памяти его любят, по-

тому что он никогда не бывает лишним в доме. Недостает ли, например, кавалера для танцев, нужен ли трем старым генеральшам четвертый для преферанса, — хозяйка дома уж непременно подбегает к нему с просьбой или с карточкой, и он всегда выручает ее из беды... Его все называют примерным молодым человеком. Имея не более двадцати семи лет, он уже исправляет должность начальника отделения и имеет чин надворного советника. Он из немцев, хотя по-немецки говорит плохо, немцев совсем не любит и ведет знакомство больше с русскими. Его даже зовут не Карлом Карлычем и не Иваном Ивановичем, а Александром Петровичем. Превосходный чиновник, обладающий в высшей степени терпением и трудолюбием, строгий и взыскательный с подчиненными, он имеет слабость казаться человеком светским и большой охотник до барышень, хотя барышни вообще терпеть его не могут. С той минуты, как его произвели в надворные советники, он начал помышлять, как бы завести надворную советницу, и ему непременно хочется, чтоб за будущей надворной советницей было по крайней

мере 2000 душ крестьян или полтораста тысяч капитала.

Когда мазурка кончилась, Александр Петрович довел барышню до ее маменьки и почтительно поклонился той и другой.

— Что, вы, я думаю, устали? — сказала ему приветливо Лизавета Ивановна. — Шутка ли, мазурка-то ведь больше двух часов длилась.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — отвечал Александр Петрович, закусив, нижнюю губу и из вежливости несколько покачнувшись вперед, — эти часы показались мне одним мгновением.

Он бросил беглый, но значительный взгляд на барышню и, снова почтительно поклонясь, исчез в толпе.

— Какой приятный молодой человек! — сказала Лизавета Ивановна дочери, поправляя ей брошку. — Он, по мне, лучше всех этих, которые танцевали с тобою.

— Фи, маменька! — вскрикнула дочь. — Он противный!

Вскоре после мазурки, когда барышня совсем остыла, маменька увезла ее домой.

Папенька, увидев приготовление к ужину

и форель, которую втаскивали в столовую на огромном блюде, не утерпел и остался ужинать...

За ужином несколько офицеров расположились около барышень... Другие же, охотники попить, сели за особенный стол. После ужина по обыкновению еще немного потанцевали и гораздо свободнее, чем перед ужином, — наконец все разъехались.

Два франта, сходя с лестницы, говорили между собою:

— А что, душа моя, ты Лизист или Софист?

— Разумеется, мон шер, Софист, хоть, впрочем, я и не охотник до софизмов...

В это время уже барышня почивала — и снилось ей, будто она, озираясь кругом с биением сердца, выдернула белое перо из султана и целовала его.

Первый шаг в свете был сделан — и уже с этих пор барышня только и грезила о балах, маскарадах, театрах и нарядах. Она познакомилась со всеми барышнями своего круга — и взяла себе за образец одну, которая была очень богата и за которой бегали молодые люди толпами. Из застенчивой и даже робкой

барышня незаметно превратилась в развязную и бойкую. Впрочем, в случае нужды она умела прикинуться величайшей скромницей. Она совершенно взяла в руки маменьку и папеньку и делала из них все, что хотела. Ее комнату уставили диванами и кушетками Гамбса. Она разложила у себя на столах кипсеки и книги; она сделалась страстной охотницей до французских стишков и, читая их, обыкновенно отмечала карандашом или ногтем те строфы, которые ей больше нравились, в надежде, что авось либо он (он был кирасирский офицер) раскроет книжку и остановится на строфах, отмеченных ею. Она смеялась над теми барышнями, которые читали русские книги и восхищались Бенедиктовым. Она знала все выпуски и петлички на мундирах всех гвардейских полков и рисовала офицеров, но только одних кавалерийских, в различных видах: и верхом, и на дрожках, и в санях, и в каретах, и в колясках...

Она почти каждую неделю ездила во французские спектакли и возила с собою маменьку, которая, не понимая ни слова, зевала, смотря на сцену.

— Да не съездить ли нам, Катюша, когда-нибудь в русский театр? — сказала ей однажды Лизавета Ивановна.

— Какая гадость, маман! Да кто же из порядочных ездит в русский театр? Коли вы хотите, так поезжайте одни, а уж я ни за что не поеду.

— Ну, как тебе угодно, — отвечала Лизавета Ивановна, — ты знаешь, что я одна без тебя уж никуда не поеду.

Если на вечере вдруг моей барышне делалось скучно, или потому, что там не было кирасирского офицера, или потому, что он слишком много говорил с другой барышней, она подходила к карточному столу, за которым сидела ее мать.

— Маман, скоро вы кончите?

— Нет еще, душенька, вот сейчас, только перед твоим приходом без двух в червях осталась...

— У меня голова болит, я не могу больше оставаться здесь. Поедемте домой.

— Что это с тобой? не простудилась ли ты? Лизавета Ивановна смотрела на дочь с беспокойством.

— Погоди немножко, мой друг... нельзя же мне не докончивши игры встать из-за стола...

— Уж этот несносный преферанс! Как хотите, маменька, я вам говорю, что не могу ждать... мне может сделаться дурно...

Лизавета Ивановна приходила в смущение и не знала, что делать, но в таких случаях обыкновенно являлся выручить ее обязательный Александр Петрович и доигрывал за нее партию.

Однажды случилось совершенно наоборот. На одном вечере Лизавета Ивановна сделалась нездоровою в то время, как дочь ее танцевала мазурку с кирасирским офицером.

Лизавета Ивановна подошла к дочери.

— Друг мой, Катенька, — сказала она ей, — мне что-то нездоровится...

Поедем!..

— Вот еще, маменька! — отвечала Катя. — Я не могу ехать прежде окончания мазурки. Вы вечно лишаете меня всех удовольствий...

Лизавета Ивановна не произнесла ни слова. Она вышла из залы, не показав ни малейшего неудовольствия дочери, прошла несколько комнат, не зная, зачем, и очути-

лась в комнате, в которой никого не было. Слезы закапали у нее из глаз.

"Не-уже-ли ей не жалко меня? — подумала она. — Неужели она меня не любит? Нет, этого быть не может, — ей не любить меня, — меня!.. ни я, ни отец, кажется, ни в чем ей не отказываем, исполняем ее малейшие желания, для нее живем сверх состояния, — а она еще говорит, что я лишаю ее всех удовольствий!.." Но никто — ни хозяйка дома, ни гости, ни барышня не видели слез Лизаветы Ивановны. Лизавета Ивановна едва дождалась окончания мазурки, так ей было тяжело, а в передней, несмотря на то, что едва стояла на ногах, сама укутывала дочь, говоря:

— Дай, я тебя закрою хорошенько, чтоб как-нибудь ветер на тебя не пахнул...

Видишь, какая ты горячая. Долго ли тут простудиться?

И странное дело! все ласки, вся заботливость матери были только в тягость моей барышне. Она часто с своими приятельницами подсмеивалась над матерью, в обществе стыдилась ее и думала:

"Это ни на что не похоже, какие манеры у



маменьки! Я вечно должна за нее краснеть".

Да не подумают, что у барышни было жестокое сердце и что она в самом деле не любила своей маменьки. Сердце у нее было нежное, как вообще у всех барышень, потому что во время представления чувствительной французской пьесы она подносила платок к глазам и приходила в расстройство от малейшей безделицы. Что же касалось до любви ее к маменьке, в этом смешно было бы и сомневаться.

С папенькой моя барышня обращалась по-ласковее, нежели с маменькой, в особенности если ей нужно было выпросить у папеньки денег сверх тех, которые он выдавал ей ежемесячно на булавки. Впрочем, она исподтишка над папенькой посмеивалась так же, как и над маменькой. Их предрассудки казались ей грубы и странны, хотя барышня сама любила иногда пококетничать предрассудками... Она морщилась, например, когда кто-нибудь подносил ей за столом солонку или предлагал булавку.

Иногда барышня ездила в церковь вместе с маменькой и с папенькой, но она не моли-

лась так искренно, так усердно, как молились ее родители. Она кушала постное только на первой и на последней неделе великого поста и то в это время чувствовала себя нездоровою и говорила, что ее желудок не может переносить грубого постного кушанья.

Она любила гадать на Рождество — гаданье она не считала предрассудком. Вместе с своей горничной она выливали олово или жгла бумагу на подносе, а потом смотрела, какие из олова или из жженой бумаги выходили на тени фигуры. Выходили всегда офицеры с султанами, в санях или в колясках, а вдали церковь. И горничная всегда замечала барышне:

— Вот, барышня, вы уж непременно выйдете нынешний год замуж; за военного.

Однако пророчество горничной не сбывалось. Пять зим сряду барышня выезжала в свет, и ни один из ухаживавших за нею офицеров не думал за нее свататься.

Кирасир более всех за нею приволакивался, и говорили, будто барышня писала к нему раздушенные записочки на французском языке (с орфографическими ошибками) и получа-

да от него таковые же; будто... ну, да можно ли верить сплетням? Известно было наверное только, что после кирасира ей очень нравился конно-егерь, затем гусар, а после гусара улан.

Лето она любила даже более, нежели зиму, потому что летом на даче так приятны прогулки в саду, при луне... Ей хотелось также очень ездить верхом, но касательно верховой езды ее воля не могла восторжествовать над волей родителей.

— И слышать не хочу об этом, — кричал папенька, — что за бесстыдство такое девице ездить верхом... Это ни на что не похоже...

— Отчего же, папа? И княжны и графини ездят. Отчего же мне не ездить?..

— Замолчи! сделай одолжение, замолчи! Ты знаешь, что я тебе ни в чем не противоречу. Уступи же мне хоть в чем-нибудь. Пожалуй, коли хочешь, это мой каприз, ну да исполни же хоть каприз папенькин.

Добрый Евграф Матвеич начинал немного сердиться. Тогда Лизавета Ивановна обращалась к нему:

— Полно, дружочек, полно, не тревожь се-

бя; она не будет ездить верхом. Сохрани ее господи от этого! Она совсем этого и не хочет; ведь это она так только пошутила.

— Совсем не пошутила, — шептала барышня себе под нос.

С дачей барышня всегда расставалась почему-то со слезами. За день до переезда она обыкновенно отправлялась гулять для того, чтобы проститься с садом и с парком, заходила во все беседки, на колоннах писала карандашом французские стишки, втыкала в деревья булабочки, клала в чугунные и мраморные вазы бантики и ленточки и прочее.

Приличие и мода сделались целью ее жизни. К приличию и к моде она стремилась всеми силами души своей. Приличие и мода обратились для нее в несокрушимое верование и убеждение.

— Ах, папа, или ах, татан! — толковала она ежедневно, — да как это можно, да это не принято, да над этим будут смеяться в свете, да это не в моде. — И в таких случаях она всегда ссылалась на авторитет дам и девиц высшего света, которых знала по именам, хотя видела их только в театрах и на гуляньях.

Маменька и папенька, смотря на свою Катю, находили, может быть, в ней много такого, что им очень не нравилось. Но они никогда не сердились на нее, не упрекали ее ни за что и думали: "Что ж делать? Она, голубушка, в этом не виновата..."

Уж изменить этого нельзя. Нынче уж свет таков! Нельзя же ей не соображаться с светскими обычаями..." Ни папеньке, ни маменьке не нравилась большая часть молодых людей, ездивших к ним в дом.

— Нет, это не то, что было в наше время! — говорил со вздохом папенька, глядя на них.

— Они все ветрогоны, — прибавляла маменька, — куда же им быть хорошими и добрыми мужьями!

Но и папеньке и маменьке — обоим им очень приходился по сердцу молодой надворный советник, исправляющий должность начальника отделения.

Они отзывались о нем, как отзывались все пожилые люди, — с отличной стороны:

— Александр Петрович — кроткий, благонравный человек и пойдет далеко; одно только жаль — немец...

Александр Петрович познакомился с Еврафом Матвейчем и Лизаветою Ивановной вскоре после того времени, как он в первый раз увидел их дочь на бале и протанцевал с нею мазурку. С тех пор он постоянно являлся к ним в дом по воскресеньям, постоянно играл в преферанс с Лизаветой Ивановной по две копейки серебром (потому что Лизавета Ивановна только в гостях играла по десяти копеек медью) и постоянно устремлял кроткие и сладкие взоры на барышню, хотя она постоянно не обращала на него никакого внимания, называла его, как всегда, противным или досадным и подсмеивалась над ним вместе с офицером. После полутороугодового знакомства он решился, однако, просить ее руки у папеньки и у маменьки. Папенька и маменька приняли его предложение очень благосклонно, но вместе с тем объявили, что они принуждать дочери не могут, что они считают это грехом и что если их дочь с своей стороны изъявит согласие, то они с своей стороны будут этому очень рады и дают на брак полное свое благословение.

Когда папенька и маменька призвали ба-

рышню к себе и объявили ей такую важную для нее новость — она сначала заплакала, потом зарыдала, потом захохотала; с ней сделался истерический припадок... Маменька и папенька перепугались, сами заплакали, а на другой день объявили Александру Петровичу, что она еще не думает о браке, но что, вероятно, со временем, когда она с ним (то есть с Александром Петровичем) короче ознакомится и увидит его достоинства, то не пожелает себе лучшего мужа; что молодые девушки — дуры; что они сами своего счастья не знают; что постоянство и терпение города берут, и прочее.

Александру Петровичу нечего было говорить о терпении. Он бросился на шею к Евграфу Матвеичу, поцеловал ручку Лизаветы Ивановны и сказал, что он терпеть и ждать будет сколько им угодно, лишь бы только его подерживала лестная надежда — удостоиться чести вступить с ними в родство.

И несмотря на то, что моя барышня совсем перестала говорить с ним, узнав о его намерениях, Александр Петрович показывал, что он нимало не оскорбляется этим, и продолжал

на нее смотреть по обыкновению кротко и сладко.

Так прошло пять лет, Александр Петрович по-прежнему являлся к Евграфу Матвейчу и Лизавете Ивановне каждое воскресенье и по-прежнему играл с Лизаветой Ивановной в преферанс по две копейки серебром... А между тем его произвели в коллежские советники и утвердили в должности начальника отделения. А между тем барышня очень изменилась в продолжение этого времени: похудела и потеряла надежду выйти замуж за офицера, хотя все еще поглядывала неравнодушными глазами на улана...

В начале шестого года (считая с первого ее выезда на бал) она стала чрезвычайно ласково обращаться с Александром Петровичем и к концу этого года торжественно объявила родителям, что, убедясь в его постоянстве и, главное, желая сделать им угодное, она готова выйти за него замуж. В последние годы ей запала в голову мысль, что можно быть женой и не любя мужа; оставаться же вечно девушкой — неловко и неудобно. К тому же она часто слышала от одной из своих приятель-



ниц такого рода фразу:

— Ах, mesdames, вы не поверите, как бы мне хотелось иметь мужа дурака, так чтоб я могла им вертеть, как пешкой.

И в ту же самую минуту, как барышня объявила родителям свое согласие на брак с Александром Петровичем, воображению ее предстала отличная карета с великолепными козлами и с гербом, четверня лошадей вороных с серыми наперекосок, венчальное и визитные платья, и шляпки, и чепчики...

Александр Петрович просиял, сделавшись женихом. Он все целовал ручку невесты и думал: "Правду говорит пословица: терпи, казак, атаман будешь!.." Благословляя дочь к венцу, Евграф Матвеич и Лизавета Ивановна, как водится, плакали навзрыд. Свадьба праздновалась великолепно. Александр Петрович стоял под венцом в мундире с богатым шитьем на воротнике. У него в кармане был ломбардный билет в 150000 рублей ассигнациями — цель его желаний. К тому же тесть и теща, улыбаясь, дали ему заметить, что у них нет другой наследницы, кроме их милой и ненаглядной Катеньки, — и все, что останется

после их смерти, принадлежит ей одной...

Здесь и кончается собственно история барышни, потому что, как видите, барышня превращается в барыню. Остается досказать очень немногое.

Евграф Матвеич скончался через год после брака дочери, и неутешная Лизавета Ивановна, разумеется, тотчас переехала в дом зятя, отдав свое село Ивановское Брысскую Топь тож (впрочем, уже заложенное) в его распоряжение. Четыре года только прошло со смерти ее милого Евграфа Матвеича, а она смотрит совсем старухой. Ее ничто не утешает, кроме внушек, которым она вполне заменяет мать...

Здоровье ее хилеет с каждой минутой, глаза бывают часто красны, говорят, будто от слез, — и она уже не играет более в преферанс. Катерина Евграфовна веселее, чем когда-нибудь. Она всякий день или на бале, или в театре... Александр Петрович облысел и похудел; его щеки ввалились, и на них нет признака бывшего румянца. Один мой знакомый нынешнею осенью встретил его в ломбарде... Он брал деньги из капитала, чтоб по приказанию жены абонировать ложу в бельэтаже на

итальянскую оперу.

Лизавета Ивановна часто с грустью смотрит на зятя и думает, тяжело вздыхая:

— Как он переменился, голубчик! Отчего же Катя огорчает его? Отчего же она мало занимается своими детьми?.. Отчего же она, моя Катя, часто забывает свою старуху мать? Разве она не видит, что мне уж недолго останется погостить здесь?..

Отчего? отчего?..

Но я не берусь разрешать все эти вопросы.

Не разрешите ли вы их, мой читатель, или вы, моя читательница?